

Мас. № 114.

с. 11, 12, Д-52

Всеволодъ Чехихинъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ВЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Боборыкина и Чехова.

Изданіе книгоиздательства „Знаніе“.

ОДЕССА.

„Книгоиздательская“ типографія Я. Х. Шермана, Рип. № 1
1899.

✓ Впервые: Прибалтийский листок. Рига, 1898. 4, 6, 9 июня. № 120,
122, 124.

даже талантомъ, и тотъ оказался бы безсильнымъ. Катковъ былъ синомъ своего времени и поэтому былъ бы немислимъ теперь, ибо онъ явился бы не въ свое время и обреченъ бы былъ на безсиліе... Катковъ съумѣлъ своимъ сильнымъ талантомъ публициста воспользоваться духовною мощью своего общества,—это безспорно, но не будь этой духовной мощи въ то время въ русскомъ обществѣ, Катковъ не могъ бы имѣть ни своей силы, ни своего положенія, ни своего обаянія. Это было въ самый разгаръ возрожденія русской жизни, два года послѣ 1861 г., когда все кипѣло жизнью, и именно жизнью духовною, когда лучшие люди шли на общественную службу, когда въ каждомъ русскомъ челоѣкъ билось сильно сердце, когда либералы создали цѣлую Писгару мыслей, стремленій, цѣлей въ руслѣ русской умственной жизни и этимъ самымъ вызывали къ жизни и противниковъ этого громаднаго урагана,—словомъ, когда все, что дремало до того, проснулось, и на борьбу выступили всѣ силы добра и зла,—на борьбу живую и, можно безъ преувеличенія сказать, народную, въ смыслѣ животрепещущихъ вопросовъ судьбы русскаго государства, эпохою создавшихся... А теперь что мы стали?—Мы стали размазнейю, которая ничего не можетъ дать, кромѣ прозябанія.

На примѣрѣ типовъ изъ произведеній Боборыкина и Чехова мы постараемся доказать, что отрицаніе всякой преемственности въ «восемьдесятникахъ» съ поколѣніями 40-хъ и 60-хъ годовъ чрезчуръ поспѣшно, что въ психологическомъ складѣ новаго поколѣнія русскихъ людей есть много общихъ наследственныхъ чертъ, которыя роднятъ «внуковъ» съ идеалистами-дѣдами поко-

60-х годов. — Мы избрали намеренно типы двух писателей, по складу своей литературной индивидуальности, противоположных — чтобы тем полнее представилась картина поколения интеллигентов восьмидесятников, к которому Боборыкин, этот, по нашей терминологии, «жизнерадостный интеллигент», относится с полным оптимизмом, тогда как Чехов, интеллигент по натуре «жизнегрозный», глядит на «восьмидесятников» пессимистически.

II.

Дейтельность Боборыкина, как романиста, можно разбить на два периода, которые характеризуются различными признаками двух собраний его сочинений: в 1883—1887 г. издавал их Вольф, в 1897 г. Маркс. В настоящей статье мы будем рассматривать деятельность Боборыкина во вторую половину его 35-летнего авторства, охватывающую 15—20 лет, а главным образом, восьмидесятые годы века — годы, представляющие собою законченный период в истории русской общестственности, годы как раз «восьмидесятников», ошельмованных нашими публицистами — «шестидесятниками».

Своих «восьмидесятников» Боборыкин изображает соп атоге: жизнерадостный писатель-оптимист не находит оснований для того, чтобы сетовать по поводу упадка общественных идеалов в этом поколении русских карьеристов и виверон, портящихся не столько более или менее сложные вопросы жизни не толь-

Подо-

каго человека. Въ единствѣ этой жизнерадости примиряются все партіи, интеллигенты всехъ отънковъ. Пользуясь уже цитированнымъ сравненіемъ Герцена, можно сказать, что русская интеллигенція, какъ Инусъ или двуглавый орелъ, смотритъ въ разныя стороны—въ стороны славянофильства и западничества, ретроградства и прогрессизма, демократизма и аристократизма, но самою природою объединена единочувствіемъ, такъ какъ сердце въ ней бьется одно. Въ этомъ русскомъ сердцѣ много загадочнаго и таинственнаго, удивляющаго иностранцевъ, которые зачастую глядятъ на нашихъ интеллигентовъ, покачивая головой, какъ одинъ изъ персонажей Достоевскаго, докторъ Герценштубе (изъ «Братьевъ Карамазовыхъ»), который полагаетъ, что „русскій весьма часто събѣдетъ тамъ, гдѣ надо плакать“,—но фактъ остается фактомъ. И если допытываться у русскаго интеллигента о реальныхъ причинахъ его жизнерадости, то онъ не сумеетъ сказать ничего путнаго, а отнѣтитъ такимъ же неопредѣленнымъ, страннымъ, именно въ устахъ точныхъ стилистовъ въ родѣ Герцена, терминомъ, какъ „русское сердце“, и будетъ повторять съ Галилеевскимъ упрямствомъ: „А все же оно бьется!“.

III.

Говорить о Чеховѣ, какъ о жизнегорестномъ интеллигентѣ, можно лишь по поводу нѣкоторыхъ его произведеній болѣе или менѣе крупныхъ по объему и субъективныхъ по содержанію; у него есть масса маленькихъ разсказовъ, проникнутыхъ отблескомъ солнечной

стороны жизни (есть даже цѣлый сборникъ вещей юмористическихъ, входящихъ въ репертуаръ «разсказчиковъ изъ народнаго быта» и куплетистовъ — «Пестрые разсказы»). Въ наиболѣе законченныхъ вещахъ Чехова пессимистическое настроеніе и пессимистическое отношеніе къ интеллигенціи восьмидесятыхъ годовъ слишкомъ замѣтно. Въ интеллигенціи, изображенной Чеховымъ, преобладаютъ типы: скептика — Гамлета, самоубійцы и вырожденца-психопата.

Скептикомъ-Гамлетомъ, примыкающимъ къ «лишнимъ людямъ» Тургенева, выставленъ у Чехова старый профессоръ въ разсказѣ „Скучная исторія. Изъ записокъ стараго человѣка“ („Сѣверный Вѣстникъ“, 1889 г. № 11). Старый профессоръ Чехова — человѣкъ, потерявшій внутреннее равновѣсіе подъ влияніемъ старости и мысли о приближающейся смерти, а главнымъ образомъ — отъ постоянной внутренней грызни и сверленія (того, что немцы называютъ „Gübelei“). Старый профессоръ — человѣкъ съ высоко-культурными привычками, умный, деликатный и добрый, даже очень дѣятельный (каждая его лекція — борьба съ невѣжественной и скучающей аудиторіей, и изъ каждой лекціи профессоръ выходитъ побѣдителемъ; „я думаю, — говоритъ онъ, — что Гераклесъ послѣ самаго пикантнаго изъ своихъ подвиговъ не чувствовалъ такого сладостнаго изнеможенія, какое переживалъ я всякій разъ послѣ лекцій“) — но въ немъ есть какая-то сухость и черствость прирожденнаго скептика; онъ, напримѣръ, мало доступенъ влияніямъ искусства и мало понимаетъ его.

Это человѣкъ безъ темперамента, весь погруженный въ самого себя, мягкотѣлый меланхоликъ, вродѣ Гамлета (который, по Шекспиру, награжденъ отъ при-

III Гитта

роды тучностью). Это Тургеневский Неждановъ, герой „Нови“; Неждановъ былъ-бы точно такимъ пустоватымъ и скучнымъ старикомъ, если-бы дожилъ до почтеннаго возраста профессора, который рассказываетъ о себѣ:

„И думаю, долго думаю и ничего не могу придумать. И сколько-бы я ни думалъ, и куда-бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить и въ стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое... Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуютъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, или Богомъ живого человѣка... А коли нѣтъ этого, то, значить, нѣтъ и ничего!“

И дѣйствительно, на счетъ опредѣленной цѣли жизни, нравственныхъ устоевъ и идеаловъ у Чеховскаго героя „делабо“; онъ безпомощнѣе въ этомъ отношеніи Боборыкинскихъ карьеристовъ „виверовъ“, съ ихъ маленькими, но опредѣленными цѣлями и идеалами — не говоря уже о Боборыкинскихъ восьмидесятникахъ-герояхъ. Старый профессоръ настолько плохъ, что не можетъ подать простого участливаго совѣта женщинѣ, ему симпатичной и обращающейся къ нему съ вопросомъ: „что мнѣ дѣлать?“ — вопросомъ тѣмъ болѣе простымъ, что въ устахъ этой женщины (а можетъ быть, и всякой другой) этотъ вопросъ значить только: „кого мнѣ любить?“

—И все-таки онъ внушаетъ читателю нѣкоторую симпатію.

тию, такъ какъ этотъ человѣкъ, по своимъ гуманнымъ инстинктамъ, значительно выше своей некультурной среды, эксплуатирующей его самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Трогательно то негодование, съ какими бичуетъ себя старый профессоръ за то, что его недовольство собою заставляетъ его раздражаться и сердиться на окружающихъ:

„Самое лучшее и самое святое право королей,— говорить онъ,—это право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, такъ какъ безгранично пользовался этимъ правомъ. И никогда не судилъ, былъ снисходителемъ, охотно прощалъ всѣхъ направо и налѣво. Гдѣ другіе протестовали и возмущались, тамъ я только совѣтовалъ и убѣждалъ. Всю свою жизнь я старался только о томъ, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентовъ, товарищей, для прислуги. И такое мое отношеніе къ людямъ, я знаю, воспринимало всѣхъ, кому приходилось быть около меня. Но теперь уже я не король. Во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ: въ головѣ моей день и ночь бродятъ злыя мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства, какихъ я не зналъ раньше“.

Эти выраженія „король“ и „рабъ“ чрезвычайно характерны для героев Чехова: эти интеллигенты въ умственномъ и нравственномъ отношеніи обыкновенно значительно выше своихъ окружающихъ и похожи на королей среди рабовъ. Герои Боборыкинскихъ романовъ далеко не выдаются такъ надъ своею средою, какъ герои Чехова; съ этой точки зрѣнія, Чеховъ проявляетъ извѣстный культъ умственного аристократизма, культъ интеллигентности — хотя и относится отрицательно къ слабости и слабости своихъ героев; онъ ихъ раз-

иницирует, но для него и „кумиръ повергнутый — все Богъ!“

Очень напоминает старого профессора болѣе молодой герой разсказа „Жена“, также разбѣденный ядомъ гамлетовщины, также безъ „общей идеи“ (онъ полагаетъ, напримѣръ, что даже въ робкихъ линияхъ тѣхъ мостовъ, которые онъ строить, какъ инженеръ, видны его безхарактерность и боязнь вѣчности); также и этому герою присущи извѣстные гуманные инстинкты, побуждающие его дѣлать добро, къ которому онъ, въ сущности, равнодушенъ (а именно, этотъ герой, подъ влияніемъ жены, посвящаетъ себя филантропіи случайнаго характера, помогаетъ голодающимъ). Также и въ этомъ разсказѣ Чеховъ является писателемъ, одновременно и любящимъ, и бичующимъ русскую интеллигенцію 80-хъ годовъ.

При отсутствіи опредѣленнаго мировоззрѣнія и характера, интеллигенты Чехова со своими гуманными инстинктами не въ состояніи выдерживать вліяній полудикой, невѣжественной среды — и въ самомъ началѣ жизненной борьбы изнемогаютъ до такой степени, что, не колеблясь, накладываютъ на себя руки. Самоубійцы Чехова — это дальнѣйшая эволюція его скептиковъ-Гамлетовъ, въ сторону пессимизма. Ивановъ (герой драмы этого названія, 1889 г.) — въ сущности такой же мягкій и культурный человѣкъ, какъ и старый профессоръ, но до такой степени неприспособленный къ жизни, что падаетъ подъ бременемъ перваго же серьезнаго внутренняго конфликта: Ивановъ жевать, влюбился въ молоденькую дѣвушку; большая жена его не пережила этой интриги, и Ивановъ кончаетъ жизнь самоубійствомъ, такъ какъ у него нѣтъ темперамента, достаточно сильнаго для того, чтобы забыть угроженія совѣсти. Глубоко-честная и доб-

рая по натурѣ природа слышится въ жалобахъ Иванова на самого себя: «Что стало съ моими нервами?—винить себя этотъ „король“ захолустной интеллигенции (дѣйствие происходитъ въ одномъ изъ уѣздовъ средней полосы Россіи).—Стоитъ только больной женѣ уколоть мое самолюбіе, или не угодить прислугѣ, или ружье дать осычку—какъ я становлюсь грубъ, золъ и не похожъ на себя!» — Какъ всѣ Гамлеты, онъ прекрасно понимаетъ истинную причину своего несчастія; въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ монологовъ онъ констатируетъ истинный свой порокъ—лѣнь и слабость:

„Если неглупый, образованный и здоровый человѣкъ,—говоритъ Ивановъ,—безъ всякой видимой причины сталъ пить Лазаря и покатишь винить по наклонной плоскости, то катить ужъ безъ удержа, а пить ему спасенія! Ну, гдѣ мое спасеніе? Въ чемъ? Пить я не могу—голова болить отъ вина; плохихъ стиховъ писать — не ухажу; молиться на свою душевную лѣнь и видѣть въ ней нѣчто этакое, ^{превысшее}превысшее не желаю. Лѣнь и есть лѣнь, слабость—слабость; другихъ названій у меня нѣтъ. Такъ въ чемъ-же мое спасеніе? Скажешь—любви? Стара штука! Любовь — это лишній толчекъ въ спину; она осложняетъ душевную смуту, къ тоскѣ прибавляетъ новую тоску. Выиграть 200 тысячъ? То же самое. Возбудить и поднять мой духъ можно до самаго неба, но послѣ возбужденія наступаетъ похмѣлье и мой духъ падаетъ еще ниже, чѣмъ былъ. Нужно понимать это и не скрывать отъ себя! У нашего брата, штыка, есть одно спасеніе“...

И Ивановъ показываетъ на фактъ, въ чемъ это спасеніе: онъ застрѣливается.

Очень похожъ на Иванова другой самоубійца Че-

хова—Треплевъ въ комедіи «Чайка» (1896 г.)—также очень добродушный и очень несчастный, благодаря своей неуравновѣшенности и также неудачной любви. «нытикъ». Но Треплевъ не „непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія“, а поэтъ-символистъ или „декадентъ“, какъ его называютъ окружающіе (ирядные дикари и варвары, какъ обыкновенно у Чехова, любящаго контрасты интеллигентности и первобытности),—и свои ощущения описываетъ колоритнѣе и интереснѣе Иванова. Маленькая интермедія, сочиненная Треплевымъ, появляющаяся въ видѣ эпизода въ „Чайкѣ“, прекрасно характеризуетъ настроеніе современнаго интеллигента-пессимиста. Треплевъ символизируетъ свою душу въ фантастическомъ образѣ мировой души, въ которой слились души всѣхъ живыхъ существъ, когда-то населявшихъ землю. „Тѣла живыхъ существъ исчезли въ прахъ и вѣчная матерія обратила ихъ въ камни, въ воду, въ облака, а души ихъ всѣхъ слились въ одну,—декламируетъ въ „Чайкѣ“ актриса, вся въ бѣломъ, изображающая „душу“ Треплева.—Общая мировая душа—это я... я... Во мнѣ душа и Александра Великаго, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и послѣдней пиявки; во мнѣ сознания людей слились съ инстинктами животныхъ, и я помню все, все, все, и каждую жизнь въ себѣ самой переживаю вновь». Этимъ фантастическимъ символомъ прекрасно выражено настроеніе души поэта-восьмидесятника, который подобно Гёте могъ бы сказать, что „съ природой одною онъ жизнью дышалъ“, совмѣщая въ себѣ ощущенія цѣлаго ряда живыхъ существъ, но не можетъ объединить въ себѣ эти ощущенія „общей идеей“, а потому и страдаетъ. Символическая женщина въ комедіи „Чайка“ жа-

зается именно на безконечность своего страдания: „От меня не скрыто, что въ упорной жестокой борьбѣ съ дьяволомъ, началомъ матеріальныхъ силъ, мнѣ суждено побѣдить, и послѣ того матерія и духъ сольются въ гармонию прекрасной, и наступитъ царство мировой воли. Но это будетъ лишь, когда мало по малу, черезъ длинный, длинный рядъ тысячелѣтій, и луна, и свѣтлый сиріусъ, и земля обратятъ я въ пыль... А до тѣхъ поръ—ужасъ, ужасъ!..“

И тотъ ужасъ существованія, лишеннаго цѣли и смысла, но полнаго постоянныхъ страданій, Треплевъ кончаетъ, какъ уже мы сказали, самоубійствомъ.

Всѣ интеллигенты Чехова страдаютъ тѣмъ, что психіатры называютъ «абулей», — безволею и болѣе или менѣе близки къ ненормальному состоянію психическихъ способностей. Во всемъ ужасѣ строжайшаго реализма эта близость русскихъ интеллигентовъ-интиковъ къ помѣшательству изображена Чеховымъ въ повѣсти «Палата № 6». Докторъ Андрей Ефимовичъ Рагинъ, постепенно забывающій здоровыхъ людей (правда, тупыхъ и глухихъ въ сравненіи съ нимъ, интеллигентовъ — какъ всегда у Чехова) для бесѣдъ съ сумасшедшимъ пессимистомъ, — это все тотъ-же старый профессоръ, Ивановъ или Треплевъ, которые замечались и зафилософствовались сначала до психопатіи, а потомъ и до формальной «меланхолии». Слабость и лѣнь оказались наклонною плоскостью, по которой покатились внизъ, до границъ безумія и смерти, несчастный русскій интеллигентъ. Для того, чтобы представить всѣ ступени этого паденія, достаточно прочесть страничку, изображающую первыя похождения вновь пріѣхавшаго доктора въ захолустьемъ городишкѣ: когда арфишце непримѣтной дѣй-

ствительности — дурно содержимой городской больницы сразу запугивает безвольного интеллигента и побуждает лишь къ резонерству, въ его положеніи, въ положеніи челоѣка жилой, практической дѣятельности, совершенно ненормальному. Злополучный эскулапъ разсуждаетъ:

«Къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгашъ или чиповникъ проживетъ лишь-лишь пять, десять лѣтъ? Если-же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лѣкарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, что страданія ведутъ челоѣка къ совершенству, и, во-вторыхъ, если челоѣчество въ самомъ дѣлѣ научится облегчать свои страданія пилюлями и каплями, то оно совершенно заброситъ религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастье. Пушкинъ передъ смертью испытывалъ страшныя мученія, бѣдняжка Гейне нѣсколько лѣтъ лежалъ въ параличѣ; почему-же не поболѣть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрентѣ Савиничѣ, жизнь которыхъ безсодержательна и была-бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если-бы не страданія?»

Подавляемый такими разсужденіями, Андрей Ефимычъ опустилъ руки и сталъ ходить въ больницу «не каждый день».

Эти-то разсужденія и привели его впоследствии въ «палату № 6» для сумасшедшихъ, въ качествѣ меланхолика, негоднаго для общества здоровыхъ людей. «Палата № 6», одно изъ лучшихъ произведеній Чехова, по глубинѣ психологическаго анализа, есть и въ то-же время

въ высшей степени субъективная вещь: ни въ одномъ другомъ произведеніи Чеховъ не высказалъ столько любви къ интеллигенту-восемьдесятнику и столько презрѣнія къ его слабости. Давъ добродушному Андрею Ефимичу въ пріятеля тупого Михаила Аверьяныча (что-то вродѣ гоголевскаго Нодрева), авторъ точно приглашаетъ читателя умозаключить: кто-же изъ нихъ больше сумасшедшій?—и все-же не шадить своего героя, казня его устами одного изъ сумасшедшихъ «Палаты № 6», превосходно раскусившаго психологію интеллигента-несхопата:

«Росли вы подъ крылышкомъ отца и учились на его счетъ, а потомъ сразу захватили синекуру. Больше двадцати лѣтъ вы жили на бесплатной квартирѣ, съ отонлевіемъ, съ осѣщеніемъ, съ прислугой, имѣя при томъ право работать какъ и сколько вамъ угодно, хоть ничего не дѣлать. Отъ природы вы человекъ дѣлиный, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь такъ, чтобы васъ ничто не беспокоило и не двигало съ мѣста. Дѣла вы сдали фельдшеру и прочей сивомоти, а сами сидѣли въ теплѣ, да въ тишинѣ, кочили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышленіями о разной возвышенной чепухѣ и (Иванъ Дмитричъ посматрѣлъ на красивый носъ доктора) выпивахомъ. Однимъ словомъ, жизни вы не видѣли, не знаете ее совершенно, а съ дѣйствительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страданія и ничему не удивляетесь по очень простой причинѣ: суета-суетъ, внѣшнее и внутреннее презрѣніе къ жизни, страданіямъ и смерти, уразумѣніе, истинное благо — все это философія, самая подходящая для русскаго лежебока».

И когда Андрей Ефимичъ попалъ на обычное житьельство въ «палату № 6» и, занимая свое положеніе,

жалуется сумасшедшему Ивану Дмитричу, тотъ пришибаетъ его насмѣшливымъ совѣтомъ: «А вы пофилософствуйте!»—И если искать символовъ во всякой реалистической детали современнаго художественнаго произведенія искусства, то можно было-бы, пожалуй, сказать, что это не грубый сторожъ Никита бьетъ кулаками въ «палатѣ № 6» сумасшедшаго Андрея Ефимыча,—это самъ авторъ колотитъ грубымъ кулакомъ сатирика и пессимиста современнаго, ослабѣвшаго до психопатіи, интеллигента-восемьдесятника.

Въ повѣсти «Дуэль»—то-же сатирическое отношеніе къ слабоумному и на этотъ разъ глупенькому интеллигенту, Лаевскому, котораго Чеховъ подставляетъ подъ пистолетъ и подъ дубоватія, вроде кулаковъ Никиты, изболительныя проповѣди зоолога фонъ-Корена, полагающаго со всею неумолимостью фанатика-дарвиниста, что подобныхъ Лаевскому субъектовъ, въ видахъ улучшенія человѣческой расы, слѣдовало-бы уничтожать. Но на этотъ разъ Чеховъ милостивъ къ своему восьмидесятнику: страхъ смерти, который Лаевскій испыталъ подъ дуломъ пистолета фонъ-Корена, оказалъ благотворное вліяніе на измельчавшую душонку этого слабоумнаго кутилы и, оставшись живъ послѣ дуэли, онъ «скрутилъ себя» и началъ новую жизнь—скромнаго, но вполне порядочнаго человѣка.

Женщины у Чехова проще, симпатичнѣе и, въ общемъ, возвышеннѣе женскихъ типовъ Боборыкина. Есть и у него каботинки и декадентки — такова Катя въ «Скучной исторіи», потерявшая нравственный смыслъ жизни и старающаяся прикрасить свою жизнь красивыми бездѣлушками. «Если-бы кто взялся нарисовать ея обстановку,—пишетъ Чеховъ,—то преобладающимъ настро-

еніемъ въ картинѣ получилась-бы лѣнь. Для лѣниваго тѣла—мягкія кушетки, мягкія табуретки, для лѣнивыхъ ногъ—ковры, для лѣниваго зрѣнія — линючіе, тусклые или матовые цвѣта; для лѣнивой души — изобиліе на стѣнахъ дешевыхъ вѣеровъ и мелкихъ картинъ, въ которыхъ оригинальность исполненія преобладаетъ надъ содержаніемъ, избытокъ столиковъ и полочечекъ, установленныхъ совершенно ненужными и не имѣющими цѣны вещами, безформенныя доскуты вмѣсто занавѣсей... Все это вмѣстѣ съ боязнью яркихъ цвѣтовъ, симметріи и простора, помимо душевной лѣни, свидѣтельствуетъ еще и объ извращеніи естественнаго вкуса. Но той-же Катѣ свойственно страстное стремленіе къ внѣшнему смыслу жизни, выражающееся въ ея возгласахъ: «Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе, что мнѣ дѣлать? Говорите: что мнѣ дѣлать?» У этой Кати — великая способность любить безавѣстно и идеально, проявляющаяся въ ея восклицаніи по адресу героя разсказа: «О, если-бы я была вашею дочерью! Я не позволила-бы никому стать на васъ, я-бы безжалостно рубила всѣ тѣ деревья, которыя смѣютъ бросать на васъ тѣнь. Я сторожила-бы каждую минуту вашего покоя и заставляла-бы себя упорно вѣровать въ Бога, чтобы молиться за ваше счастье!». Не вина этой Кати, если ей нечего дѣлать, некого любить, некому отдавать свое любвеобильное сердце, такъ какъ герой разсказа оказывается, въ концѣ концовъ, слишкомъ ужъ незначительнымъ существомъ. Поневолѣ приходится ударяться въ декадентскіе пустячки — тѣмъ болѣе, что Катя въ душѣ—артистка.

Безусловно удаются Чехову типы влюбленныхъ женщинъ. Это Саша въ «Ивановѣ», съ **99** культомъ

героизма—чисто-Тургеневскій типъ. Чеховъ отмѣчаетъ, между прочимъ, интересную черточку въ этомъ типѣ. Саша до такой степени активная натура, что ей нравится до известной степени натье и слезоточивость Иванова. На вопросъ Иванова: «развѣ быть женою сильнаго и храбраго человѣка хуже, чѣмъ быть сидѣлкой у какого-нибудь слезоточиваго неудачника?»—Саша дѣлаетъ слѣдующее, въ высшей степени любопытное, признаніе: «Хуже!... Мужчины многого не понимаютъ. Всякой дѣвушкѣ скорѣе нравится неудачникъ, чѣмъ счастливецъ, потому что каждую соблазняетъ любовь дѣятельная... Понимаешь? Дѣятельная. — Мужчины заняты дѣломъ, и потому любовь у нихъ на третьемъ планѣ. Поговорить съ женой, погулять съ ней по саду, приятно провести время, на сея могилкѣ поплакать, — вотъ и все. А у насъ любовь — это жизнь. Я люблю тебя; это значить, что я мечтаю, какъ я налѣчу тебя отъ тоски, какъ пойду съ тобой на край свѣта... Ты на гору и я на гору; ты въ яму, и я въ яму. Для меня, напримѣръ, было-бы большимъ счастьемъ всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудилъ кто-нибудь, или идти съ тобой пѣшкомъ версты сто... Помню, года три назадъ, ты разъ, во время молодости, пришелъ къ намъ весь въ пыли, загорѣлый, измученный и попросилъ нить: «Шурочка, дайте, голубчикъ, водички!» Принесла я тебѣ стаканъ, а ты уже лежишь на диванѣ и спишь, какъ убитый. Спалъ ты у насъ полсутки, а я все время стояла за днерью и сторожила, чтобы кто не вошелъ. И такъ мнѣ было хорошо!... Чѣмъ больше труда, тѣмъ любовь лучше, — то есть она, понимаешь-ли, сильнее чувствуется!»

Женскихъ натуръ. ~~дѣятельныхъ~~ въ рамкахъ „се-

действительности, «героини» въ широкомъ смыслѣ слова, въ произведенияхъ Чехова не встрѣчается. Его героини— героини полного самопожертвованія любимому человѣку, вроде Анны Петровны въ „Ивановѣ“, крещеной еврейки, бросившей для мужа свою прежнюю семью и прежнюю религію: „Я полюбила его съ перваго раза, —говоритъ Анна Петровна;—исглянула, а мышеловка хлопъ! Онъ сказалъ: пойдемъ... Я отрѣзала отъ себя все—какъ, знаете, отрѣзають гнилые листья ножницами, и пошла.“ Подъ стать этой Аннѣ Петровнѣ—экзальтированная Пина Зарѣчная въ „Чайкѣ“, которую любимый ею Тригоринъ сравниваетъ съ случайно подстрѣленной чайкой. Для Тригорина (беллетриста, по пьесѣ) вся интрига съ Ниной—«сюжетъ для небольшого разсказа» про подстрѣленную чайку и загубленную охотникомъ дѣвицу, но для Нины ея любовь—большая героическая трагедія, въ которой она произноситъ тираду: «Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Своего рода героиней является и Надежда Оедоровна въ „Дуали“, грѣшная подруга легкомысленнаго Лаевского, выѣстѣ съ послѣднимъ подвергшая себя подвигу самоискупленія и самопожертвованія. Нарѣдка лишь мелькнетъ у Чехова «героиня», стремящаяся къ мужскимъ цѣлямъ существованія—вродѣ его «жены», посвятившей себя дѣлу помощи голодающимъ; но такихъ персонажей въ его произведенияхъ немного. Въ общемъ, его интеллигентныя женщины проще и симпатичнѣе героинь Боборыкина,—и Чеховъ, хотя и вырисовываетъ ихъ безъ особенной идеализаціи и энтузіазма, но зато и относится къ нимъ съ ровнымъ и искреннимъ доброжелательствомъ, не допуская въ ихъ отношеніи пессимистическаго тона, который у него такъ

часто прорывается при сужденіяхъ о мужчинахъ-восемьдесятникахъ.

Чеховъ отрицателенъ въ такой же мѣрѣ на отрицательныя стороны русской интеллигенціи, почему онъ съ такою же охотою изображаетъ слабыхъ, усталыхъ «вытиковъ», съ какою Боборыкинъ рисуетъ благополучныхъ россянъ,—такова уже сущность его жизнегорестной психической организаціи. Но несомнѣнно, что русская жизнь даетъ ему богатый матеріалъ для проявленія этой жизнегорести, коренящейся въ томъ же фактѣ молодости русской культуры, въ которомъ коренится и русская жизнерадость. Культура наша молода, интеллигентъ всюду малочисленъ и просто подавляемъ массами некультурныхъ, кишачихъ вокругъ него, элементовъ; сама жизнь даетъ много матеріала для пессимистическихъ созерцаній, замаскированныхъ у Чехова объективнымъ Мопассановскимъ тономъ повѣствованія и описанія. Какая-то прирожденная незлобивость натуры мѣшаетъ Чехову высказывать свой пессимизмъ въ формѣ рѣзкой сатиры; но несомнѣнно, что любя русскаго интеллигента-восемьдесятника не менѣе Боборыкина, Чеховъ относится къ этому интеллигенту съ увѣшеніемъ и разочарованіемъ.

IV.

Общие выводы, къ которымъ приводитъ нашъ краткій и бѣглый обзоръ типовъ современнаго общества въ произведеніяхъ Боборыкина и Чехова, могутъ быть формулированы въ нѣсколькихъ словахъ. Въ произведеніяхъ Боборыкина фигурируютъ интеллигенты-дѣятели, въ

произведениях Чехова—интеллигенты-созерцатели; на женских типах обоих беллетристов лежат отпечаток их взглядов на мужчин-восьмидесятников: женщины в романах Боборыкина—натуры более активны, чем в повестях, рассказах и драмах Чехова. К одной и той же эпохе, начавшейся в восьмидесятых годах и продолжавшейся иныи, Боборыкин и Чехов относятся различно: требования, предъявляемые Боборыкиным к русской интеллигенции, скромнее требований Чехова, и онъ отъсѣкает болѣе свѣтлыхъ явленій въ жизни и дѣятельности современнаго русскаго интеллигента; это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ разницы въ «жизнерадостномъ» и «жизнегорестномъ» взглядѣ на жизнь, свойственномъ натурѣ беллетристовъ, но несомѣнно, что и русская дѣйствительность не даетъ простора тѣмъ утонченно-культурнымъ элементамъ русскаго общества, описание гибели которыхъ составляетъ обычное содержание произведений Чехова.

Теперь мы можемъ констатировать наличность въ поколѣннн восьмидесятниковъ извѣстнаго социальнаго инстинкта, толкающаго на общественную дѣятельность героевъ Боборыкина, и наличность въ томъ же поколѣннн высшихъ, философскихъ стремленій, къ сожалѣнн, не связанныхъ «общей идеею», въ душахъ героевъ Чехова. Но тутъ и являеся вопросъ: какимъ образомъ восьмидесятники ощутили извѣстный социальный идеалъ и извѣстную философскую мысль, не находя кругомъ себя достаточно яркихъ выразителей этого идеала и этой мысли? Отвѣтъ простъ: этотъ идеалъ и эта мысль унаслѣдованы и переданы по традици; социальные элементы въ психологн современного восьмидесятника

перешли отъ поколѣнія людей 60-хъ годовъ, философскіе элементы—отъ поколѣній людей 40-хъ годовъ. Несомнѣнна, такимъ образомъ, преемственность въ духовномъ развитіи трехъ поколѣній: какъ бы ни клеветала на «внуковъ» и некоторая часть современнаго русскаго общества, но эти внуки—законнѣйшіе потомки по духу и «отцовъ».—Базаровыхъ, и «дѣдовъ».—Рудинныхъ. Эти основныя два свойства психологіи пятидесятниковъ, инстинктъ общественности и философская тенденція, еще пока только намѣчены и не могли ярко выразиться; но весьма возможно, что при сочетаніи благопріятныхъ условій внѣшнѣ-историческаго характера, прекрасныя свойства эти проявятся во всей ихъ красотѣ; представимъ какое нибудь историческое событіе въ русской жизни, по значенію равное событію освобожденія крестьянъ—и «a priori» можно умозаключить, что современное поколѣніе не окажется ничѣмъ хуже своихъ предковъ, отъ которыхъ, какъ-никакъ, оно унаслѣдовало лучшія традиціи.

Итакъ, для вѣрнаго пониманія психологіи современнаго русскаго общества, надо произвести мысленный синтезъ основныхъ типовъ творчества обоихъ современныхъ беллетристовъ; синтезъ этотъ дастъ типъ «дѣятельнаго интеллигента-идеалиста»—и въ эту эволюцію восьмидесятника можно вѣрить, какъ въ нѣчто положительное, нѣчто, уже имѣющее почву и корни въ современности.

Любопытно сравнить этотъ выводъ, сдѣланный изъ наблюденія надъ типами беллетристики, съ выводомъ, сдѣланнымъ публицистикою изъ непосредственныхъ на-

блюдений надъ жизнью. Публицистъ Шелгуновъ, обыкновенно клеймящій „восьмидесятниковъ“, однажды обмолвился о нихъ интереснымъ разсужденіемъ (въ статьѣ «Еще о свѣтлыхъ и мрачныхъ явленіяхъ»).

«Вычеркнувъ радикализмъ и борьбу, фракція эта (восьмидесятниковъ),—говоритъ Шелгуновъ,—задалась мыслью служить народу непосредственнымъ практическимъ путемъ и удовлетворять его насущнымъ нуждамъ въ просвѣщеніи и благоустройствѣ простыми ближайшими средствами и энергическимъ трудомъ безъ всякой окраски его въ какой-либо посторонній цвѣтъ или тенденцію, для практическаго дѣла, по мнѣнію фракціи, не имѣющихъ никакого значенія. Программа эта, несомнѣнно, почетная и должна привести непременно къ плодотворнымъ результатамъ, потому что подготовить и создать работниковъ дѣла, воспитавшихся въ мысли о непосредственной практической дѣятельности и общественно-служебной исполнительности. Подобныхъ работниковъ у насъ еще мало и въ земствѣ, и городскомъ самоуправленіи, и даже въ чиновничествѣ, и наше самоуправленіе сплоско и рядомъ скрываетъ только отъ ихъ недостатка. Успѣху этой пропаганды должно помочь не только ея вполне легальное направленіе, но и соответствие ея стремленій съ общимъ характеромъ дѣятельности правительства, направиавшейся тоже на удовлетвореніе непосредственныхъ практическихъ нуждъ народа.—Но это все таки только одна сторона дѣла. На пользу народа работать нужно, и работать именно въ томъ направленіи, какое приняла фракція. Затѣмъ

~~эта фракція намеренно~~

или неминуемо жаждать игнорировать и на что она смотреть даже съ высокомерьем. Это нечто есть идеяность!"

Итак даже публицистика, отрицательно относящаяся къ восьмидесятикамъ, отдаетъ должное ихъ социальнымъ стремлениямъ, ихъ общественной деятельности,—чертъ, отмеченной Биборыкинымъ; но эта публицистика отрицаетъ за поколѣниемъ восьмидесятыхъ годовъ «идеяность» — черту, отмеченную Чеховымъ. Но, какъ мы видѣли, черта эта все таки свойственна современному интеллигенту, и отрицать ее было бы несправедливостью. Несомнѣнно, что литература уже навѣщаетъ типъ «дѣятельнаго идеалиста», в чѣмъ дѣятельный идеализмъ, имѣющій проявиться въ восьмидесятикахъ, будетъ синтезомъ социального идеализма 40-хъ годовъ и социального радикализма 60-хъ годовъ истекшаго вѣка. Доказать это пока еще трудно—но вѣрить уже и теперь можно, не рискуя впасть въ положеніе «credo, quia absurdum».

Конечно, два исконныхъ свойства человеческой души «жизнерадость» и «жизнетворность» обуславливаютъ отношеніе всякаго человѣка къ будущему—оптимисты всегда будутъ относиться къ будущему Россіи съ полнымъ довѣріемъ, пессимисты всегда будутъ ее отрицать; но все же есть надежда, что современная русская интеллигенція склоняется, если не во вагаздахъ, то въ своихъ чувствахъ къ поколѣнію, имѣющему доступъ къ истинѣ и вѣрѣ въ обществ. дѣятельности. Вспомниъ Герцена, мы лучше покончимъ на русское слово —

це нашей интеллигенции, этого двуликого Януса или
двуглавого орла, смотрящего въ разные стороны «жиз-
нерадости» и «жизнегорести», оптимизма и пессимизма;
это сердце и теперь уже дать отвѣтъ на вопросъ о
будущности русскаго общества—отвѣтъ, который можно
формулировать стихами Тютчева:

Умомъ Россіи не понять,
Аршиномъ обшью не измѣрить;
У ней особенная стать:
Въ Россію можно только—вѣрить!